

О методе Жижека

АЛЕКСАНДР СМУЛЯНСКИЙ

АЛЕКСАНДР СМУЛЯНСКИЙ. Кандидат философских наук, ведущий образовательного семинара «Лакан-ликбез». Адрес: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, 18а. E-mail: smulansky@gmail.com.

Ключевые слова: тексты Славоя Жижека, университетский дискурс, анализ первоисточников, проблема репрезентации.

В университетской философской традиции практически нетронутым остается разделение на так называемые первоисточники и на вторичные толковательные тексты, которые академия призвана порождать для лучшего понимания оригиналов. В современной философии это разделение демонстрирует всю присутствующую ему проблематичность. Искусственное разделение ролей маскирует более глубокие отношения между линиями, поскольку вторичные тексты, посвященные современным философским концепциям, зачастую не столько проясняют их, сколько иллюстрируют подход, который в оригинале уже подвергся критике. Тексты Славоя Жижека построены так, чтобы максимально избежать этой двусмысленности. Тем не менее его подход очищен от нее далеко не полностью. Логике ее нарастания можно проследить в работах последних лет и, в частности, в книге «Меньше, чем ничто».

ON ŽIŽEK'S METHOD

ALEXANDER SMULYANSKY. PhD in Philosophy, facilitator at the "Lacan Literacy" seminar. Address: 18A Bolshoy prospect Petrogradskaya side, 197198 Saint Petersburg, Russia. E-mail: smulansky@gmail.com.

Keywords: texts of Slavoj Žižek, university discourse, primary source analysis, the problem of representation, utterance act.

In the philosophical tradition at academic institutions there is a distinct division between original texts and secondary sources which one can use to improve their understanding of the "classics." In contemporary philosophy such a division proves problematic. Separating "creators" from "lectors" masks a deep latent connection between two fields as far as philosophical interpretations have already been anticipated in original conceptions. Slavoj Žižek's unusual style accomplishes a task of preventing this ticklish situation. But his method is not a perfect solution to this question. In many respects, his last works failed to avoid ambiguity. This concerns the book *Less than nothing* especially.



НОВА ТОБЫ передать существо жижековских размышлений, нет смысла прибегать к жанру рецензии. И не потому, что сам автор долгое время выступал в роли переводчика, то есть как медиум в другом медиуме не нуждается. Ложность этого утверждения очевидна — любой медиум порождает лишь бесконечную сеть опосредований, без которой никакое посредничество, по-видимому, немислимо. Зачарованность христианской культуры фигурой посредника призвана скрыть тот факт, что предназначенное для передачи надежно запирается в этой сети. Похоже, в этом и состоит истинная роль посредника.

Сказанное имеет прямое отношение к жижековскому изложению, поскольку, как полагают многие, оно вдохновляется намерением пересказать целый ряд оригинальных учений так, чтобы раз и навсегда вырвать их из плена неадекватных воспроизведений. При этом есть определенный риск, связанный с обстоятельством, которого любой пересказ, как правило, не учитывает. Актуализация первоисточника должна идти не по пути пересказа или приложения изложенных в нем соображений к прочим предметам — два основных режима, которые знакомы пишущему академическому сообществу и которые попеременно практикуются в нем с большим или меньшим успехом. Актуализация философского первоисточника в действительности должна начинаться с указания на то, что все апелляции к нему, все попытки дать ему применение уже затронуты им в гораздо большей степени, чем допускают сами авторы этих попыток.

По этой причине тот минимум притязаний, который демонстрирует каждый из посредников, по существу и есть наибольшая опрометчивость с их стороны. Следует учесть, что здесь действует правило, согласно которому любое вторичное изложение, ста-

вящее перед собой скромную задачу «ознакомления аудитории» с тем или иным учением, невольно иллюстрирует те стороны этого учения, которые из пересказа выпали. Именно по этой причине нет такого академического текста о Ницше или Хайдеггере, который не был бы обеспечен несопоставимостью задач его изложения с оригиналом — механизм этого обеспечения больше всего бросается в глаза, притом что он является по большей части воображаемым. В гораздо большей степени вторичное изложение первоисточника изувечено именно методологически — как правило, оно отмечено теми чертами, которые описываемое оригинальное учение относит к наиболее нестерпимым изъянам мысли.

Эта закономерность имеет место практически всегда, хотя обыкновенно принято считать, что академическое изложение так или иначе справляется с поставленной перед ним задачей. Само указание на то, что в изложении такого рода его «осознанная часть» уступает место механизмам репрезентации, ставящим это изложение в неочевидные для него отношения с первоисточником, уже является своего рода критикой.

В этом смысле все жижековское предприятие, несомненно, является довольно удачно выражаемой претензией к толковательной работе академии. Тем не менее описанная закономерность касается и его тоже. Более того, именно по причине его амбициозной, местами нескромной удачливости она касается его в наибольшей степени. Так, существует целый ряд элементов того же лакановского учения, которых жижековские тексты ни разу не коснулись, как бы избегая их, но которые при этом могли бы многое прояснить в причинах неровности жижековского изложения, пролив свет на затемненные основания присущей ему убежденности. Указание на них — это единственный способ дать реальное место фигуре того же Лакана, в противном случае обреченной на постоянный пересказ и опосредование даже в самых удачных и, если так можно выразиться, любовных подходах к ней.

Сегодня становится ясно, что проект университетского пересказа себя исчерпал. Даже осваивая материал, он не в состоянии придать тому собственную толковательную силу. А ведь это и есть задача любого пересказа, который выступает толкованием лишь постольку, поскольку призван вернуть объяснительную мощь самому пересказываемому. Приходится признать, что совершаемые комментаторами жесты солидарности с «мыслителями» остаются чисто символическими свидетельствами могущества последних. Независимо от степени ревностности и усердия исследователя, нет такой силы, которая могла бы наполнить для нынешнего читателя

смыслом кьеркегоровскую жалобу, хайдеггеровское указание или взятую навскидку лакановскую схему. Ни одно прояснение их «глубокого содержания» и присущего им «универсального значения» само по себе ничего не дает — предположительно присущая им настоятельность только слабеет.

Важно подчеркнуть, что это положение обязано не недостаткам читающей публики. Речь не идет о пагубной неспособности нынешней аудитории воспринимать эти тексты так, как предположительно воспринимали их читатели предыдущих поколений. В этом случае пришлось бы давать объяснение этой неожиданно проявившейся невосприимчивости и возиться с совершенно недо-стоверными гипотезами увеличившегося «информационного потока» и другими наскоро измышленными объяснениями. Вместо этого необходимо признать, что вся обычная иерархическая машинерия толкования, представляющая собой мухлеж с так называемыми первичными и вторичными текстами, является обманом до тех пор, пока со всей очевидностью не станет понятно, что «первичные тексты» — это на самом деле и есть те, в которых заложено объяснение несовершенства «вторичных». Последние в этом смысле должны утратить даже ту толику претензий на метаязык, которую они реализуют в режиме обычного изложения, где они солидаризируются с правотой «великих авторов». Напротив, рассматривать их необходимо как пассивные свидетельства этой правоты, которая таким образом делается смещенной, неочевидной. По существу именно это и есть пресловутый «параллакс» — одно из основных понятий жижековской логики.

Именно с этой точки зрения необходимо подходить и к самому жижековскому анализу, в котором этот параллакс начинает выступать на первый план, вмешиваясь в изложение. Даже если в текстах Жижека он действительно кое-где становится, как еще недавно выражались, «предметом авторской рефлексии», то происходит это ценой появления в них других затемнений, которые устроены иначе, нежели обскурантизм обычного лекционного характера, но тем не менее тоже нуждаются в прояснении.

«Меньше, чем ничего» в качестве материала более чем подходит для этой задачи. Работа любопытна уже тем, что в ней Жижек решает, вопреки своему обыкновению, сказать кое-что сверх обычной программы. С самых первых страниц на поверхности публицистического изложения появляется философская теория, притом что, как известно, вразрез с общепринятым режимом философского повествования теоретическая часть в жижековских работах чаще всего остается прикрытой и неочевидной. Интересно, что ред-

кие ее появления в них на фоне обычного уклонения доказывают, что считать «прямой речью» (которая из-за ряда предрассудков обычно смешивается с речью «от первого лица») следует, скорее, предъявление теории, которая сама по себе является самым что ни на есть прямым высказыванием. Прямота эта иного рода, нежели манифестарное или ангажированное заявление, и тем не менее речь идет именно о прямоте, которая делает жижекковский текст уязвимым гораздо сильнее, нежели откровенное изъяснение политических симпатий. Проливая на рассуждения определенный свет, выражение теоретических предпочтений придает им гравитационную массу. То, что было до того отдельными размышлениями, становится позицией, причем гораздо более специфической, нежели заявления и призывы, зачастую скрывающие, какие именно теоретические решения приняты их автором.

Позиция эта преодолевает обычные жалобы на присущую жижекским текстам текучесть, характерный для них *flood* — на то, что некоторые раздраженные критики, сияющее бросить на жижекские тексты подозрение в безответственности, описывают как их «постмодернистский характер». Интересно, что это довольно пустое и малограмотное обвинение по-настоящему истеризует автора — Жижек незамедлительно отвечает на них другими текстами, в которых настойчиво подчеркивает наличие у себя «твердой и бескомпромиссной» этико-политической позиции. Ложность создаваемой таким образом ситуации заключается в том, что «точка пристежки», спасающая проект из пучины необязательности, возникает не там, где настаивают на принципиальности своих гражданских воззрений, а там, где неотвратимый характер носит изложение самой теории. Действительно, в «Меньше, чем ничего» по каждому из наиболее принципиальных вопросов (а сегодня это вопросы вовсе не религиозной веры или же вероятности мировой антикапиталистической революции, но, скорее, теоретическая оценка феномена повторения или анализ соотношения репрезентации и презентации в поступках субъекта) Жижек оставил свое мнение, носящее вполне недвусмысленный характер.

В то же время все свои основные и предварительные теоретические установки он излагает со стремительностью, не предполагающей никаких экивоков, — в некотором смысле на его стороне в этом плане сам предмет — речь идет о знаменитой витгенштейновской оговорке в «Логико-философском трактате» относительно необходимости иной раз помолчать. Оговорку эту все комментаторы склонны воспринимать как вызов, традиционно пытаясь объяснить ее значение. И не факт, что, занимаясь этим, они не нарушают

существо озвученного запрета. В любом случае существенным прорывом является то, что Жижек переводит почти что столетнее обсуждение на совершенно новый уровень. Вместо того чтобы заново поднимать вопрос (как обычно выражается сам Жижек, «скучно рассуждать») о «границах мира и языка», жижековский подход требует, чтобы сформулированное Витгенштейном затруднение выполняло роль не внешнего ограничителя, отделяющего область речи от зоны молчания, а создавало рассогласование внутри самой области высказывания.

Заслуживает внимания указание на то, что это рассогласование не закладывается в высказывание лишь по той причине, что высказывание предположительно нарушает выдвинутое Витгенштейном прагматическое ограничение: в конце концов, давно было замечено, что хоть сколько-нибудь долго удержаться в предписанном Витгенштейном режиме высказывания нельзя — никто и не пробовал всерьез этого делать. Тем не менее, невзирая на эту невозможность, исследователи продолжали всерьез обсуждать универсальность предложенных Витгенштейном возможностей и ограничений.

Наоборот, Жижек сразу указывает на то, что для применения «ограничительного тезиса» необходимо измерение, которое совершенно не обязательно называть «работой идеологии» (хотя Жижек именно так его и называет), но в котором действительно важна роль конкретного примера из истории употребления высказывания. Другими словами, выборочное тестирование каких угодно высказываний на их соответствие витгенштейновскому правилу, любая его универсализация вообще, с точки зрения Жижека, неуместна. Напротив, скорее, как на изъясн следовало бы указать на то, что из-за некоторой рафинированности, присущей языку и примерному ряду «Логико-философского трактата», его комментаторы обычно предпочитали говорить о «мире», «субъекте» и «познании» в целом. Это, конечно, не оздоравливало атмосферу вокруг витгенштейновского тезиса, поскольку все то, что его автором было будто бы разоблачено и отброшено как сугубо метафизическая тематика, превосходно сохранялось в стилистике обсуждавших его текст интерпретаторов.

Жижеку удается предотвратить эту давнюю двусмысленность — с самого начала он заявляет, что витгенштейновский тезис будет применен к материалу, который подведен под действие «тезиса» не искусственно, но потому, что уже на практике продемонстрировал способность учреждать вокруг себя завесу молчания, причем пронизанную условностями. Речь идет о практиках высказывания о событии холокоста, то есть о так называемом *holocaust discourse* — дисциплине единственной в своем роде, в области которой все

возникающие на пути обсуждения затруднения воспринимаются чуть ли не как благословение свыше и сами по себе незамедлительно получают толкование и этическую оценку.

Вопрос, которым задается Жижек, заключается в том, каким образом можно витгенштейновского ограничения избежать. В данном случае это означает вопрос о том, какой режим высказывания для этой речи требуется подобрать.

Сразу следует сказать, что в подобной постановке вопроса заключен как прорыв, так и шаг в направлении существенных недоразумений в области понимания инстанции акта высказывания. Аналитическая удача неотделима здесь от потери теоретического градуса. По этой причине необходимо последовательное освещение всех достигнутых Жижеком выигрышей: именно они, как ни странно, и являются наилучшей иллюстрацией того упущения, которое совершает его анализ.

Что, во-первых, означает «верный режим высказывания»? Жижек здесь, разумеется, намекает на Кьеркегора: то, что его тревожит, — это возможная эстетизация повествования, предположительно неуместная:

Но как избежать нам опасности того, что эстетическое наслаждение, порожденное повествованием, сотрет саму суть того, что мы называем «травмой холокоста»?

При этом следующий вопрос, который Жижек задает почти немедленно, звучит иначе:

Какой тип повествования здесь следует избрать? Это совершенно точно не тип реалистического описания происходящего — напротив, речь должна идти об описании, которое передавало бы сам возмущенный характер описываемой реальности средствами этого же самого возмущения.

Этот порядок задавания вопросов требует специального разбора. Сначала можно подумать, что Жижек запутался в двух совершенно разных регистрах, а именно в том, который касается эстетичности произведения искусства, и в том, который указывает на то, чему оно может своей реалистичностью послужить, — речь здесь, как сказали бы представители нарративных дисциплин, снова о прагматике. На самом деле ничего подобного — путаница здесь как раз на стороне теоретиков искусства, даже сегодня волей-неволей продолжающих вслед за дискуссиями классической немецкой философии отличать удовольствие эстетического созерцания

от того, что так впоследствии и не получило удовлетворительного определения, но касается способности искусства совершить нечто такое, что позволит ему называться «реалистичным». То, что пресловутый мимесис в высказывании теоретика искусства безуспешно разрывается между тем и другим, лишь указывает на то, что у этих вещей должен быть некий общий корень, притом что никто не гарантирует, что он не лежит где-нибудь в стороне от магистральной дискуссии.

Корень этот Жижек ищет, демонстрируя обычный для него *rush*, наскок, требуя упразднить все прежние установки и вообще перестать искать «реализм» на уровне содержания высказывания, то есть оценивать качество описания и избранные им средства. Вместо этого он требует перейти на уровень, который вслед за Лаканом называет уровнем «акта высказывания»:

С чем мы имеем здесь дело — так это, конечно же, с разрывом между содержанием сказанного (*enunciated content*) и субъектом, находящимся в позиции акта высказывания (*subjective position of enunciation*).

Тема этого разрыва не нова и тем не менее обычно получает настолько мало внимания, что ее деталей почти не разобрать в редких дискуссиях на ее счет. Невзирая на предпринимаемые лакановскими последователями усилия, нынешнее состояние лакановского *enunciation* таково, что в философской литературе насчет него нет ни малейшей ясности. Так следует ли понимать его как совокупность условий, делающих высказывание возможным, или же, например, как нечто «более реальное», приоткрывающее «нижележащий смысл» сказанного? Каждая из этих версий находит у публики одинаково благосклонную встречу, все одинаково хороши, поскольку безразличны в отношении именно лакановского нерва размышлений на эту тему. Другое дело, что сам Жижек по отношению к последнему вовсе не глух. Для него понятие «акта высказывания» соответствующим образом настроено — это далеко не все что угодно. Жижек понимает, что речь идет не об условиях субъекта как о среде, позволяющей ему что-то сболтнуть, при случае выдав это за принципиальное заявление, а о том измерении речи, которое находится по отношению к содержанию сказанного в определенном отношении логического характера. Другими словами, субъект с его делишками здесь сугубо вторичен. Тем не менее, понимая все это, Жижек не может удержаться от того, чтобы не потребовать от субъекта своего рода правдоподобия в условиях изложения. Проблема мимесиса, таким образом, встает здесь

во весь рост, но Жижек, увлеченный найденным фокусом освещения, к ней больше нечувствителен.

Жижекское объяснение выглядит следующим образом: ясно, что носитель травматического опыта не может, заводя о нем речь, похвастаться гладкостью изложения — он должен бормотать и заикаться, возвращаясь к тому, что лежит в основе этого опыта. Иначе говоря, речь субъекта, слишком бегло и гладко говорящего о своем — предположительно травматическом — опыте, не внушает доверия. Именно это делает условно невозможным, например, кинематографическое высказывание — так называемый *holocaust movie*.

Проблема заключается в том, что стилистическое совпадение между заявлением о пережитой травме и характером повествующей о ней речи тоже особого доверия не внушает. Здесь возникает смутная область доксографии, различных мнений, в выражении которых обнаружатся как те, кто потребует для правдоподобия повествования его стилистическую поврежденность, так и те, кого вполне устроит отвергнутое сходо реалистическое повествование по той причине, что оно ничуть не хуже передает мертвую нечувствительность, предположительно вызываемую тем же травматическим воспоминанием. Можно действовать так или иначе — на результате это никак не скажется. Стоит отметить, что это безразличие в выборе средств выражения парадоксальным образом касается особо болезненного пункта, в котором, как кажется, средства выражения играют принципиальную роль, — вопрос «Как возможно говорить о холокосте?» до сих пор остается в своем роде культурной *idea fix*.

Здесь возникает искушение напомнить, что точно такие же требования не раз доводили Жижека до обратных утверждений, согласно которым тот же субъект, например, в состоянии сильного горя вовсе не обязан горевать в манере, воспетой плохими писателями, которые необычную молчаливость горящего полагают особым подвигом по отношению к обычному порядку демонстрации горя. Нетрудно указать на то, что «необычная молчаливость горя» представляет собой спекуляцию на театрализованном эффекте другого уровня, который возводит разрыв между аффектом и речью в особый возвышенный статус. Горюете ли вы яростно и неприкрыто или же избираете более утонченный молчаливый вариант — в любом случае вы с успехом сможете обосновать, что ваш выбор является более подходящей и правдоподобной стратегией выражения. Другими словами, как однажды выразился Лакан по поводу игры в «обманщика», силы игроков уравниваются — признак, явно говорящий о том, что теоретические ориентиры

утрачены. По сути это и есть то самое «эстетическое измерение», которое настигает теорию выражения там, где она, казалось, давно уже поставила вопрос на более принципиальную этическую основу. Именно здесь движимый лучшими побуждениями Жижек и предает Кьеркегора вместе со всеми его хорошо известными рассуждениями о несовпадении выражаемого и характера выражения — рассуждениями, которые привели самого Кьеркегора в состояние полного замешательства и призвали его засвидетельствовать невозможность пристойно и с честью разрешить эту трудность.

Речь по существу идет о сакраментальной разнице между описанием и показом. Нет смысла говорить о том, что проблема эта, начиная с самого Кьеркегора, впервые впавшего по этому поводу в показательное отчаяние, не перестает обсуждаться, поскольку периоды молчания на ее счет не делают ее менее важной. Речь идет практически об основном вопросе современной философской теории — вопросе, через который сегодня происходит ее непрерывная политизация.

По существу, как это ни забавно, решая данный вопрос, Жижек не предлагает ничего такого, что выходило бы за пределы приснопамятного для советского зрителя требования «бодры» говорить бодрее, а «веселы» — веселее. Требование это комично именно потому, что проблему различия между содержанием и актом высказывания оно подает именно так, как настаивает на ней Жижек, имея в виду приличествующее случаю совпадение между содержанием речи и способом ее подачи. При этом из контекста ясно, что здесь тоже хватает пресловутой «нормативности», что, в свою очередь, означает: задача преодоления разрыва между актом и содержанием, — а значит, между описанием и демонстрацией, — отнюдь не решена.

Напротив, многое подсказывает, что мечта о совпадении показа и описания, одушевляющая более радикальные политические движения, не только не осуществима, но и сама глубоко идеологизирована. Если Жижеку угодно поискать, на его стороне целый сонм возможных примеров. Иное дело, что большая их часть в ходе анализа обернется против него самого. Вся жижекковская аргументация на самом деле поразительно хорошо ложится на осведомленность современного читателя, уже подготовленного пронизывающей все его окружение длительной историей сомнения в инстанции высказывания, — по существу, здесь нет ничего, что выходило бы за пределы давно уже усвоенного аудиторией беспокойства о соответствии сказанного и его условий. К услугам весь спектр кинематографических примеров, в которых это соответствие ставится под вопрос, с тем чтобы снова восторжествовать,

как это бывает в сценах из экшена, где персонаж вынужден подтвердить соответствие буквально под дулом пистолета. Все помнят шаблонную ситуацию, в которой захваченному в заложники дают телефонную трубку, чтобы он поговорил со своими коллегами и близкими, убедив их с помощью самого что ни на есть естественного тона в том, что ничего особенного не происходит. Та толика насилия, что в этом положении присутствует, иронически подтверждает жижекковскую версию возможного «совпадения акта и содержания высказывания» — она доказывает, что добиться этого эффекта возможно лишь сугубо искусственными средствами.

То же самое, хотя это и не так очевидно, характерно для того смятения в речи, которое Жижек считает подтверждением свершившегося непоправимого этического и экзистенциального разрыва, — оно также не лишено следования определенному этикету. Другими словами, в любом — бытовом или художественном — повествовании, намеренно ставящем в центр «сердцевину травматического опыта», в любой попытке «передать существо» чего бы то ни было, прибегая к жижекковской терминологии, тоже полным-полно «идеологии». На самом деле правильным вопросом к подобному рассказу был бы вопрос о том, для чего он вообще понадобился, ведь у травмы сколько угодно способов сказать и без картезианских посягательств на попытку ее «рефлексии». Неочевидно, для чего пытаться делать то, от чего с самого начала отказался, к примеру, тот же психоанализ, для которого прямое требование «поговорить о травме» представляет собой безусловный теоретический моветон.

Согласиться с этим подходом не позволяет не только лакановский подход к инстанции акта, который не сводится ни к условиям повествования, ни к его «контексту». В еще большее противоречие этот подход вступает с наблюдениями Лакана за характером устройства самой речи. Согласно им, речь — ее называют человеческой речью, хотя она представляет собой речь исключительно субъекта, причем субъекта, прославившегося тем, что он как субъект себя знает (поскольку уже в этом одном он, как известно, ошибается, то его знание прекрасно описывается той же формулой «меньше, чем ничего»), — представляет собой речь, которая существует и продолжается исключительно в силу того, что акт высказывания в ней никогда с содержанием совпасть не может.

Связь с лакановским учением об акте высказывания теряется там, где это несоответствие Жижек оценивает по большому счету как неудачу — для него оно по существу и представляет собой «идеологию» в той вызывающей глубокое подозрение форме, в которой та по сложившейся теоретической традиции разоблачается критиком. Имен-

но здесь обнажается основной конфликт жижековского подхода. За этот конфликт ответствен не сам автор — речь идет о теоретической судьбе, унаследованной им от всей политической теории слева. Разлад, расстройство, несовпадение видимого и сказанного оцениваются в ней как что-то такое, что обладает статусом лжи, даже если в итоге в ней обнаруживается некая эвристическая плодотворность.

Именно это и заводит жижековскую аналитику в тупик, заставляя ее условно остановиться на решениях, которые при иных обстоятельствах мало кого удовлетворили бы, включая самого автора. В «Меньше, чем ничего» Жижек не оставляет тему *gap*'а, разрыва, развитую в «Параллаксном видении». И тем не менее, когда приходит момент «принятия теоретического решения», на первом плане чудесным образом оказывается совпадение. Идет ли речь о конфликте между платоновской идеей и миром «видимых вещей» (Жижек воодушевленно сообщает, что проблема, терзавшая Платона, решена: идею нужно искать в самой «внешности», в *appearance* вещи; тем самым она представляет своего рода «внешность внешности» — удвоение, которое Жижека не смущает) или же о революции в Египте, которая, невзирая на подозрение в ее манипулятивном и спровоцированном характере, *и есть* «открытый и универсальный призыв к свободе», всякий раз обнаруживается, что жижековская повестка политического анализа разнообразных смещений поменялась и теперь в ней сдвинут, отставлен в сторону сам параллакс.

По существу, теперь, рассматривая проблему, Жижек ищет и временами находит то уникальное место, откуда различие больше не видно, как это произошло с данным им поразительным определением Бога, в котором тот является единственной, уникальной в своем роде инстанцией, где содержание высказывания и акт совпадают¹. Любопытно, что Жижек считает эту гипотезу своего рода секулярным вкладом в понимание божественной инстанции и ее отношения к желанию субъекта, притом что совершить подобный ход означает просто-напросто вернуться к самым что ни на есть традиционным теологическим допущениям, в которых разнородные и противоречивые качества находят в божественной сущности свое примирение. Картина этой можно задать лакановский, — но также и марксистский, и даже вполне гегельянский — вопрос: в конечном итоге чьему наслаждению это вновь восстановленное единение обязано?

1. Should not God as the absolute Subject be precisely the one for whom the enunciated and its enunciation totally overlap, so that whatever we intimately know has already been confessed to him?